

Лекция 10. Политическая переработка идеи нации в период революции

10 марта 1976 г. Политическая переработка идеи нации в период революции: Сийес. — Теоретические последствия и воздействие на исторический дискурс. — Два подхода к пониманию новой истории: господство и тотализация. — Монтлозье и Огюстен Тьерри. —
Рождение диалектики

По моему мнению, в XVIII веке именно исторический дискурс был тем главным и почти единственным, которым сделал из войны основной и преобладающий принцип анализа политических отношений; значит, дискурс истории, а не дискурс права, и не дискурс политической теории (с ее договорами, дикарями, людьми степей или лесов, с ее естественным состоянием, борьбой всех против всех и т. д.). В таком случае, теперь я хотел бы показать, как, несколько парадоксально, начиная с эпохи революции война как понятие принципа, определяющее значение для исторического понимания в XVIII веке, оказывается если не исключенным из исторического дискурса, то, по крайней мере, уменьшенным, ограниченным в своей роли, захваченным и внедренным в другие темы, разделенным, если хотите цивилизованным и до некоторой степени усмиренным. В конечном счете история

(неважно, изложена ли она Буленвилье или дю Бюа-Нансэ) выявила большую опасность: опасность в виде бесконечной войны; опасность, в силу которой все наши отношения, какими бы они не были, всегда включены в систему господства. И именно этой двойной опасности — бесконечной войны как основы истории и отношений господства как главного элемента политики — суждено в историческом дискурсе XIX века снизиться, разделиться на более мелкие опасности в той или иной области, на временные эпизоды, преобразоваться в кризисы и в насильственные меры. Но еще более существенно, я думаю, то, что на смену этой опасности должно будет прийти некоторое успокоение, но оно не может быть истолковано в смысле хорошего и правильного равновесия, какого искали историки XVIII века, а только в смысле примирения.

Я не думаю, что это изменение значимости проблемы войны в историческом дискурсе было результатом трансплантации ее в область диалектической философии или контроля над ней со стороны последней. Я думаю, что существовала как бы внутренняя диалектизация, самодиалектизация исторического дискурса, которая, понятно, соответствует его обуржуазиванию. Теперь проблема состояла бы в том, чтобы понять, как, отталкиваясь от этого изменения (если не исчезновения) роли войны в историческом дискурсе, война, подавленная таким образом внутри исторического дискурса, появится вновь, но роль ее теперь будет негативной и в некотором роде внешней: это не роль созидания истории, а защиты и сохранения общества; война не будет больше условием существования общества и политических отношений, а будет условием его выживания в системе политических отношений. В этот момент появится идея внутренней войны как защиты общества от опасностей, возникающих в его собственном организме и от него же исходящих; это, если хотите, большое преобразование исторического в биологическое, исторически образующего фактора в медицинский феномен при толковании социальной войны.

Итак, сегодня я попытаюсь описать это движение самодиалектизации и, следовательно, обуржуазивания истории, исторического дискурса. В последний раз я хотел показать, как и почему в выработанной в XVIII веке историко-политической области именно буржуазия, позиция которой была в конечном счете очень сложной, испытывала самые большие затруднения в использовании исторического дискурса в качестве оружия в политической борьбе. Теперь я хотел бы вам показать, как произошла разблокировка, причем, вовсе не в тот момент, когда буржуазия обратила внимание на историю или признала ее, а когда она начала очень своеобразный политический, а не исторический, пересмотр знаменитого понятия «нации», из которого аристократия в XVIII веке сделала субъект и объект истории. В результате этого пересмотра идеи нации осуществилась трансформация, сделавшая возможным новый тип исторического дискурса. Я рассмотрю, если не совсем в качестве отправного пункта, то по крайней мере в качестве примера указанной трансформации, конечно, текст Сийеса о третьем сословии, текст, который, как вы знаете, ставит три вопроса: «Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в политической системе? Ничем. Чем оно хочет быть? Чем-нибудь».¹ Текст известный и затасканный, но я думаю, что при немного более внимательном прочтении он позволяет сделать несколько существенных уточнений.

Относительно нации вы знаете (я возвращаюсь к уже сказанному, чтобы резюмировать его), что, если говорить схематично, в условиях абсолютной монархии существование нации

отрицалось, а если, в крайнем случае, оно признавалось, то только в той мере, в какой нация имела в личности короля условие своей возможности и субстанциального единства. Нация есть не потому, что есть группа, толпа, множество индивидов, живущих на одной земле, имеющих один язык, одни и те же обычаи и законы. Не это образует нацию. Ее образует то, что существующие индивиды, которые, находясь рядом друг с другом, являются просто индивидами, не образуют даже совокупности, тем не менее все и каждый в отдельности имеют определенное, одновременно юридическое и физическое, отношение к реальной, живой, телесной личности короля. Именно тело короля в его физическо-юридической связи с каждым из его подданных образует материальность нации. Юрист конца XVII века говорил: «...каждое частное лицо представляет только одного индивида по отношению к королю».[24] Сама нация не образует единого организма. Она вся целиком заключается в личности короля. И именно из этой нации — своего рода простого юридического проявления физической единицы короля, имеющей свою реальность только в единственной и индивидуальной реальности короля, — аристократическая реакция извлекла множество «наций» (самое меньшее две) и установила между нациями отношения войны и господства; она превратила короля в инструмент войны и господства одной нации над другой. Теперь не король конституирует нацию; нация создает себе короля, для того чтобы бороться с другими нациями. В истории, написанной представителями аристократической реакции, эти отношения стали основой исторического подхода. Сийес дал совсем другое определение нации или, скорее, двойное ее определение. С одной стороны, он выдвинул юридическое положение. Сийес говорит, что для существования нации нужны две вещи: общий закон и легислатура.² Вот юридическое положение. Это первое определение нации (или, скорее, первая совокупность условий, необходимых для существования нации) требует, таким образом, гораздо меньшего, чтобы начать разговор о нации, чем требовало определение, свойственное абсолютной монархии. То есть для существования нации нет необходимости в короле. Не нужно даже, чтобы существовало управление. Нация существует до образования какого-либо правления, до рождения суверена, до делегирования власти, лишь бы только она дала себе общий закон с помощью инстанции, которую она сама определила для выработки законов, а это и есть легислатура. Значит, нация суть гораздо меньше того, чего требовало представление о ней, свойственное абсолютной монархии. Но, с другой стороны, она гораздо больше того, чем этого требовало определение нации, данное представителями благородной реакции. Для этой последней, для истории, какой ее представил Буленвилье, достаточным условием существования нации считалось наличие групп людей с общими интересами и с общими обычаями, привычками, в известной степени, общим языком. По Сийесу, для существования нации нужно, чтобы были ясные законы и формулирующие их инстанции. Пара закон— легислатура составляет формальное условие для существования нации. Но это только первый уровень определения. Для того, чтобы нация существовала, чтобы ее закон применялся, чтобы ее легислатура была признана (и не только извне, другими нациями, но и внутри нее самой), чтобы она была и процветала, нужно не формальное условие ее юридического существования, а реальное условие ее бытия в истории, нужно нечто другое, другие условия. И именно на этих условиях Сийес останавливается. Это в какой-то степени субстанциальные условия нации, Сийес выделяет две их группы. Прежде всего, ту, которую он определяет как «работы», то есть прежде всего агрокультура, во-вторых, ремесло и промышленность, в-третьих, торговля, в-четвертых, свободные профессии. Но более этих «работ» нужно то, что он называет «функциями»: это армия, юстиция, церковь и администрация.³ «Работы» и

«функции»; мы бы сказали, вероятно, «функции» и «механизмы», чтобы обозначить две совокупности обязательных исторических составляющих феномен нации. Но важно, чтобы именно на уровне функций и механизмов были определены условия исторического существования нации. И поступая таким образом, добавляя к юридическо-формальным условиям нации историко-функциональные, Сийес, я думаю, перевернул (это первое, что можно подчеркнуть) направленность всех делавшихся до того анализов нации, основывались ли они на монархистском или на руссоистском тезисе.

Поставим вопрос: пока преобладало юридическое определение нации, как интерпретировались те элементы, которые Сийес выделяет в качестве субстанциальных условий нации — агрокультура, торговля, промышленность и т. д.? Они не считались условием существования нации; напротив, они рассматривались как следствие ее существования. Именно когда люди, жившие до того изолированно на определенной территории, на границе лесов или в лугах, захотели заняться земледелием, торговать, установить между собой отношения экономического типа, они создали закон, государство или правление. То есть функции были в действительности только следствиями или, во всяком случае, принадлежали к области конечных результатов юридического устройства нации; они могли развиваться только тогда, когда юридическая организация нации оформилась. Что касается механизмов — таких как армия, юстиция, администрация и т. д., — они тоже не были условием для существования нации; они были если не следствиями, то, по крайней мере, инструментами и гарантом ее существования. Только когда нация образовывалась, можно было создавать институты вроде армии и юстиции.

Итак, можно заметить, что Сийес переворачивает анализ. Он относит «работы» и «функции», или «функции» и «механизмы», к феноменам, существующим до нации — если не исторически, то, по крайней мере, в системе условий существования. Нация может существовать как таковая, она может войти в историю и существовать в ней, только если она способна к торговле, агрокультуре, ремеслам; только если она имеет индивидов, способных создать армию, суд, церковь, администрацию. Это значит, что группа индивидов всегда может объединиться, всегда может установить для себя законы и легислатуру; она может выработать конституцию. Но если нет способности торговать, создавать ремесла, агрокультуру, формировать армию, суд и т. д., то исторически нация никогда не возникнет. Она, может быть, будет существовать юридически, но не исторически. Реальными факторами создания нации никогда не являются ни договор, ни закон, ни консенсус. Но верно и обратное, вполне может случиться, что у группы индивидов есть на что жить, имеется историческая способность осуществлять свои работы, выполнять функции, но, однако, она никогда не сможет обрести общий закон и легислатуру. Такие люди в некотором роде будут обладать субстанциальными и функциональными элементами нации; но не будут обладать ее формальными элементами. Они будут способны к созданию нации; но они не будут нацией. Исходя из этого можно проанализировать — как это и делает Сийес, — что происходило, с его точки зрения, во Франции в конце XVIII века. Существовали фактически сельское хозяйство, торговля, ремесла, свободные искусства. Кто выполнял эти различные функции? Третье сословие, и только оно. Кто выполнял функции в армии, церкви, администрации, юстиции? Конечно, некоторые важные посты занимали люди, принадлежавшие к аристократии, но девять из десяти мест в этих аппаратах занимали, по Сийесу, выходцы из третьего сословия. Однако третье сословие, которое на деле

обеспечивало субстанциальные условия жизни нации, не имело в итоге формального статуса. Во Франции не было общих для всех законов, а была совокупность законов, из которых одни применялись к дворянству, другие — к третьему сословию, третьи — к духовенству и т. д. Не было общих для всех законов. Не было также легислатуры, потому что законы или королевские указы принадлежали к системе, которую Сийес называет «придворной»⁴, к системе двора, то есть королевского произвола.

Мне кажется, что из этого анализа можно извлечь определенное число следствий. Одни, конечно, имеют непосредственно политический характер. Они состоят в следующем: очевидно, что во Франции нет нации, потому что в ней отсутствуют формальные юридические условия ее существования: нет общих для всех законов, законодательного органа. И, однако, во Франции имеется «какая-то» нация, то есть группа индивидов, которые способны обеспечить субстанциальное и историческое существование нации. Эти люди — носители исторических условий существования нации и определенной нации. Отсюда вытекает центральное положение текста Сийеса, которое можно понять только в полемической, открыто полемической, связи с тезисами Буленвилье, дю Бюа-Нансэ и других и которое гласит: «Третье сословие есть вся нация».⁵ Эта формула означает следующее: то понятие нации, которое аристократия применяла к группе индивидов, имеющих между собой общее только в форме обычаев и положения, недостаточно для выражения исторической реальности нации. И в то же время государственная целостность, обеспеченная королевством Франция, реально нации не представляет, поскольку не предполагает, строго говоря, необходимых и достаточных для образования нации исторических функций. Где нужно, следовательно, искать историческое ядро нации, «определенной» нации? В третьем сословии, и только в нем. Одно третье сословие является историческим условием существования нации, но такой нации, интересы которой должны по праву совпадать с интересами государства. Третье сословие — это полноценная нация. Именно она составляет нацию. Или еще, если хочется выразить иначе те же самые положения: «Все, что является национальным, принадлежит нам», говорит третье сословие, «и все, что принадлежит нам, составляет нацию».⁶

Эта политическая формулировка, которую изобрел не Сийес и которую не он один формулировал, фактически становится матрицей всего политического дискурса, не исчерпанного еще и поныне. Матрица этого политического дискурса имеет, по-моему, две особенности. Первая особенность нового заключается в фиксации отношения партикулярности к универсальности, отношения, в точности обратного тому, которое характеризовало дискурс аристократической реакции. Что в основном делала последняя? Она извлекала из конституированного королем и его подданными социального организма, из этого монархического единства определенное особое право, замешанное на крови и подтвержденное победой: особое право благородных. И она желала, каким бы не было устройство окружающего ее общества, сохранить для дворянства абсолютную и особую привилегию на это право; значит, извлечь из целостности общества это особое право и заставить его действовать во всей его особости. Но здесь речь должна идти совсем о другом. Наоборот следует сказать (именно это скажет третье сословие): «Мы только нация среди других индивидов. Но нация, которую мы составляем, одна может действительно создать единую нацию. Мы сами по себе не представляем общественной целостности, но мы способны выполнить объединяющую функцию государства. Мы способны к государственной

универсальности». И вот вторая особенность этого дискурса: происходит инверсия временной оси требования. Теперь требование выдвигается не от имени прошлого права, установленного либо через консенсус, либо в результате победы или нашествия. Требование ориентируется на возможность, выдвигается в расчете на будущее, которое неминуемо, которое уже присутствует в настоящем, так как речь идет об определенной государственной функции универсальности, уже обеспеченной «некоей» нацией в социальном организме, и во имя этого данная нация требует, чтобы ее статус исключительной нации был признан на деле, и признан юридически в форме государства.

Вот что можно сказать о политических последствиях этого типа анализа и дискурса. Но имеются также теоретические следствия, я о них сейчас скажу. Можно видеть, что нацию в этих условиях определяет не ее архаичность, древность, не ее отношение к прошлому; ее определяет отношение к чему-то другому, отношению к государству. Это включает несколько положений. Прежде всего, нация определяет себя в основном не по отношению к другим нациям. Нацию должно характеризовать не горизонтальное отношение к другим группам (какими бы не были эти другие нации, враждебными, противостоящими данной нации или близкими ей). Напротив, нацию должно характеризовать вертикальное отношение, устанавливающееся между совокупностью индивидов, способных создать государство, и самим государством в его реальном существовании. Именно эта вертикаль нация — государство, или возможность государства — реализация государства, характеризует и определяет нацию. Это означает также, что силу нации составляет не только ее физическая мощь, не ее военные способности, не ее в некотором роде варварская сила, как хотели представить дело историки дворянства в начале XVIII века. Теперь считается, что силу нации составляют некие способности, возможности, все они упорядочиваются в системе государства; нация будет тем сильнее, чем более государственных способностей она будет иметь. Это означает также, что сущностью нации не является господство над другими. Существо функций и исторической роли нации не заключается в установлении господства над другими нациями; оно заключается в другом: в умении управлять собой, распоряжаться, руководить, обеспечить себе конституцию, функционирование государственной системы и государственной власти. Не господство, а этатизация. Таким образом, нация, по существу, больше не является участником варварских и воинственных отношений господства. Нация — это активное, конститутивное ядро государства. По крайней мере, нация представляет собой государство в наметках, это государство в той мере, в какой оно зарождается, формируется и находит исторические условия своего существования в группе индивидов.

Таковы теоретические последствия нового понимания нации. Теперь о последствиях для исторического дискурса. Дело в том, что теперь исторический дискурс снова вводит и в какой-то степени ставит в центр проблему государства. Такой исторический дискурс определенно сближается с тем историческим дискурсом, который существовал в XVII веке и относительно которого я пытался вам показать, что он был, по существу, родом дискурса государства о самом себе. Он имел оправдательные, литургические функции: через него государство рассказывало о своем собственном прошлом, то есть утверждало свою легитимность и укрепляло свои основные права. Таков был исторический дискурс еще в XVII веке. Именно против него выступила аристократическая реакция, и она создала другой тип исторического дискурса, в котором роль нации сводилась к разложению государственного

единства и к обнаружению того, что за формальной видимостью государства существовали другие силы, принадлежащие не государству, а особой группе, имеющей свою особую историю, свое отношение к прошлому, свои победы, кровь, свои отношения господства и т. д. Теперь нарождается исторический дискурс, который принимает в расчет государство и по своим основным функциям не будет больше антиэтатистским. Но в этой новой истории нет места для дискурса государства о себе самом с целью самооправдания. Речь теперь должна идти об истории постоянно меняющихся отношений между нацией и государством, между этатистскими возможностями нации и действительной целостностью государства. Это позволяет написать историю, уже не замкнутую больше в круг возврата и восстановления, коренного поворота к первоначальному положению вещей, как это было характерно для XVII века. Теперь можно представить историю в виде прямой линии, решающим моментом в ней будет переход от возможности к действительности, от национальной целостности к государственной универсальности, следовательно, историю, обращенную одновременно к настоящему и к государству; историю, ориентированную на неизбежность образования государства, на всеобъемлющую, законченную и полную систему государства в настоящем. И это также позволит — второе положение — написать историю, где соотношение задействованных сил будет иметь целиком гражданский, а не военный характер. Конечно, при анализе текстов Буленвилье я пытался вам показать, каким образом через посредство институтов (хозяйства, воспитания, языка, знания и т. д.) осуществляется столкновение наций в одном и том же социальном организме. Но использование нациями гражданских институтов было представлено у Буленвилье только в качестве инструмента ведения войны, которая так и осталась в основном войной; они только инструменты господства, которое так и осталось господством военного типа, результатом нашествия и т. д. Теперь, напротив, появляется история, где война — война за господство — превращается в борьбу, имеющую другое содержание: не вооруженное столкновение, а напряжение, соперничество, давление, цель которых — универсальность государства. Именно государство и его универсальность становятся одновременно целью и полем борьбы; но такая борьба, которая не ставит цели господства и не выражается в господстве, а имеет в качестве цели и области своего применения государство, будет, по существу, гражданской. Она должна, по сути, развиваться через экономику, институты, производство, администрацию, быть направленной на них. Возникает гражданская борьба, по отношению к которой военная, кровавая борьба может быть только исключительным моментом, или кризисом, эпизодом. Гражданская война, далеко не будучи основой всех столкновений и разновидностей борьбы, фактически является только эпизодом, фазой кризиса по отношению к борьбе, которую теперь нужно рассматривать не в терминах войны, господства, не в военных терминах, а в гражданских. И я думаю, что именно в этом заключается один из основных вопросов истории и политики не только XIX, но и XX века. Что значит представлять борьбу в собственно гражданских терминах? Может ли быть эффективно проанализирована экономическая, политическая борьба, борьба за государство в терминах не военных, а собственно экономико-политических? Или следует вновь отыскать за всем этим нескончаемый процесс войны и господства, который пытались очертить историки XVIII века? Во всяком случае, начиная с XIX века, с нового определения понятия нации, возникает история, которая в противовес тому, что делалось в XVIII веке, стремится обнаружить гражданскую основу борьбы в области государства, последняя и должна заменить собой ту агрессивную, военную, кровавую основу, войну, которая была в центре внимания историков XVIII века.

Я рассмотрел условия возможности нового исторического дискурса. Но какую конкретно форму принимает новая история? Я думаю, что если хотят представить ее в целом, то можно сказать, что она характеризуется взаимодействием и взаимным прилаживанием двух интеллектуальных подходов, которые существуют рядом друг с другом, до некоторой степени пересекаются и исправляют друг друга. Первый подход представляет интеллектуальную схему, разработанную и применявшуюся в XVIII веке. То есть это история, как она писалась Гизо, Огюстеном Тьерри, Тьером, а также Мишле, отправной точкой такой истории было соотношение сил, состояние борьбы в той форме, в какой оно признавалось в XVIII веке: в форме войны, сражения, нашествия, завоевания. Историки, скажем еще аристократического типа вроде Монтлозье⁷ (но также Огюстен Тьерри и Гизо), постоянно принимают эту борьбу как матрицу истории. Например, Огюстен Тьерри говорит: «Мы думаем, что мы нация, а мы представляем собой две нации, живущие на одной земле, две нации, враждебные по своим воспоминаниям, непримиримые по своим целям: одна из них некогда завоевала другую». И конечно, некоторые из господ перешли на сторону побежденных, а остальные, то есть те, кто остался господами, «так же чужды нашим чувствам и нравам, как если бы они только вчера заняли место среди нас, они так же глухи к нашим идеям свободы и мира, как если бы наш язык был им неизвестен, как язык наших предков был неизвестен их родичам, они следуют своей дорогой, не заботясь о нашей».⁸ Также и Гизо говорит: «...более тринадцати веков во Франции жили два народа, победители и побежденные».⁹ И сейчас, значит, еще существует та же самая отправная точка, тот же интеллектуальный подход, что и в XVIII веке. Но к этому первому подходу добавляется другой, который одновременно дополняет и переворачивает изначальный дуализм. Теперь отправной точкой рассуждения должна быть не первая война, первое нашествие, первый национальный дуализм, напротив, рассуждение строится регрессивно, исходя из настоящего. Второй подход стал возможен именно вследствие пересмотра идеи нации. Главным моментом больше не является начало, некий архаический элемент; главным, напротив, оказывается настоящее. Самым важным является, я думаю, перевертывание ценности настоящего в историческом и политическом дискурсах. По сути, в истории и в историко-политической области XVIII века настоящее всегда было негативным моментом, это был спад, чисто внешнее спокойствие, забвение. Настоящее было моментом, когда из-за всей суммы перемещений, измен, изменений в соотношении сил первоначальное состояние войны как бы затуманивается и становится неузнаваемым; не только неузнаваемым, но и глубоко забытым даже теми, кто, однако, мог бы извлечь из него пользу. В результате своего невежества, любви к развлечениям, лени, жадности знать забыла о первоначальном соотношении сил, которое определяло ее отношения с другими обитателями их земель. И более того, дискурс клерков, юристов, администрации королевской власти скрывал это изначальное соотношение сил, так что настоящее для историков XVIII века всегда было периодом глубокого забвения. Отсюда необходимость выйти из настоящего посредством внезапного и резкого пробуждения, которое должно прежде всего произойти в результате глубокой реактивизации на уровне знания первоначального состояния. Пробуждение сознания должно было оттолкнуться от настоящего, как от уровня крайнего забвения. Новый подход к истории, напротив, требует исходить теперь из того момента, когда история поляризуется в ряде отношений, таких как нация — государство, возможность — действительность, функциональная целостность нации — реальная универсальность государства, при этом хорошо видно, что настоящее становится самым полным моментом, моментом наибольшей интенсивности, торжественным моментом, когда универсальное

вступает в реальное. Контакт универсального и реального в настоящем (настоящем, которое только что произошло и должно утвердиться), в неизбежном настоящем придает последнему одновременно силу, интенсивность и делает из него принцип исторического мышления. Настоящее больше не момент забвения. Это, напротив, период, когда готова раскрыться истина, когда на свет выходит скрытое или виртуальное. Вообще в настоящем раскрывается прошлое, поэтому оно является основой для анализа прошлого.

Я думаю, что историки XIX века, или по крайней мере первой половины XIX века, используют оба интеллектуальных подхода: тот, который отталкивается от некоей изначальной войны, охватывает все исторические процессы и анимирует все их развитие; и другой подход, который исходит из актуальности настоящего, из тотализующей деятельности государства и затем обращается к прошлому, восстанавливая его генезис. Фактически оба подхода никогда не употребляются в отрыве друг от друга: они всегда используются почти на равных правах, всегда направлены навстречу друг другу, они более или менее накладываются друг на друга, частично пересекаются на границах. В результате история пишется, с одной стороны, на основе понятия и факта господства, имея на заднем плане войну, с другой стороны, на основе понятия и факта тотализации, с выдвиганием на первый план настоящего государства и с пониманием, в любом случае, неизбежности того, что происходило и будет происходить. Итак, история пишется одновременно в терминах изначального дуализма и в терминах тотализующего завершения. И я думаю, что политическая польза исторического дискурса определяется в основном способом сочетания в нем двух подходов к истории; способом, при котором выдвигается вперед тот или иной из них.

В целом, если преимущество отдается первому подходу, требующему исходить из начального дуализма, то создается вариант истории, которую можно назвать реакционной, аристократической, правой. Если преимущество отдается другому подходу, требующему исходить из настоящего момента универсальности, то создается вариант истории либерального или буржуазного типа. Но фактически ни та ни другая из этих двух форм подходов к истории, имеющих каждая свою собственную тактическую позицию, не может отказаться от использования тем или другим способом обоих подходов. Я хотел бы в этой связи привести два примера: один заимствован из типично правой, типично аристократической формы литеритезации истории, которая до определенного момента развивается прямо в духе трактовок XVIII века, но фактически значительно переделывает их метод и использует вопреки всему интеллектуальную схему, выстроенную на основе настоящего. Другой пример имеет обратный характер: его цель показать, что в работах историка, считающегося либеральным и буржуазным, встречаются обе интеллектуальные схемы и даже та, которая основывается на феномене войны, но она не становится, однако, для него главной.

Итак, первый пример: историей правого типа, очевидно пронизанной духом аристократической реакции XVIII века, является история, написанная в начале XIX века Монтлозье. В ней изначально подчеркнуты отношения господства: на протяжении всей истории обнаруживаются отношения национального дуализма, характерные для него отношения господства. Книги Монтлозье испещрены бранью, которую он адресует третьему сословию: «Раса вольноотпущенных, раса рабов, народ, платящий дань, вам была

пожалована льгота быть свободными, но не благородными. Для нас все есть право, для вас все — милость. Мы не принадлежим к вашей общности, мы сами по себе.» Здесь еще можно найти известную тему, о которой я вам говорил в связи с Сийесом. В том же духе Жуффруа написал в каком-то журнале (я не помню в каком) следующую фразу: «Северная раса овладела Галлией, не искоренив побежденных; своим наследникам она завещала распорядиться завоеванной землей и управлять завоеванными людьми».10 О национальном дуализме говорили все историки, которые в целом были эмигрантами, а по возвращении во Францию, в момент наивысшей реакции, развивали идею о важности нашествия. Но при внимательном рассмотрении анализ Монтлозье сильно отличается от того, который можно было наблюдать в XVIII веке. Конечно, Монтлозье говорит о господстве, установившемся в результате войны или, скорее, многих войн, место которых он, по сути, не стремится определить. И он считает главным не то, что произошло в момент нашествия франков, потому что фактически отношения господства существовали задолго до того и были более многочисленны, чем предполагается, когда останавливаются лишь на нашествии франков. В Галлии задолго до римского нашествия уже существовало отношение господства между знатью и народом, который был обязан выплачивать дань. Это был результат древней войны. Римляне пришли, принесли с собой войну, а также отношение господства между своей аристократией и людьми, которые были зависимы от этих богатых, благородных или аристократов. И здесь также отношения господства были результатом старой войны. А затем пришли германцы с их собственными внутренними отношениями зависимости между свободными воинами и теми, кто были только подданными. Таким образом, в конечном счете то, что установилось в начале средневековья, на заре феодализма, не было просто господством какого-то одного народа-победителя над побежденным народом, а было смешением трех внутренних систем господства, существовавших у галлов, римлян, германцев.11 В основном феодальная знать эпохи Средневековья была только смешением трех аристократий, которые образовали новую аристократию и господствовали над людьми, представлявшими в свою очередь смешение галльских данников, римских клиентов и германских подданных. Таким образом, установилось отношение господства между знатью, которая была нацией, всей нацией, то есть феодальной знатью, и затем (вне нации, в качестве объекта, другой стороны в системе господства) всем народом, состоявшим из данников, крепостных и т. д., который в действительности был не другой частью нации, а находился вне нации. Монтлозье, значит, вводит монизм на уровне нации в пользу знати и сохраняет дуализм на уровне господства. Однако какой была, согласно Монтлозье, роль монархии? Она состояла в создании из этой вненациональной массы, которая была результатом смешения германских подданных, римских клиентов, галльских данников, нации, другого народа. Такой была роль королевской власти. Монархия освободила данников, дала права городам, сделала их независимыми от дворянства; она также освободила крепостных и создала из разрозненных частей нечто, о чем Монтлозье говорит, что это был новый народ, равный в правах древнему народу, го есть дворянству, и гораздо более многочисленный. Королевская власть, говорит Монтлозье, создала огромный класс.12

В анализе такого типа, конечно, происходит воссоздание всех элементов, использовавшихся в XVIII веке, но с большим изменением. Оно, как вы видите, заключается в том, что политические процессы, всё, что происходило со средневековья вплоть до XVII и XVIII веков, состояло, согласно Монтлозье, не просто в изменении, смещении силовых отношений между двумя партнерами, существовавшими как бы с начала игры и противостоявшими якобы друг

другу, начиная с нашествия. Фактически прошлое интерпретируется как создание внутри некоей мононациональной совокупности, целиком сконцентрированной вокруг знати, чего-то иного: создание новой нации, нового народа, того, что Монтлозье называет новым классом.¹³ Создание, следовательно, класса, классов внутри общества. Но что должно произойти в результате создания нового класса? Да, король использует новый класс, чтобы вырвать у дворянства его экономические и политические привилегии. Какие средства он использует? Монтлозье повторяет то, о чем говорили его предшественники: ложь, измены, противоестественные союзы и т. д. Король использует также живую силу нового класса; он использует восстания: восстания городов против сеньоров, крестьянские восстания против земельных собственников. Но что, спрашивает Монтлозье, нужно видеть за всеми этими восстаниями? Конечно, недовольство нового класса. Но особенно руку короля. Именно король воодушевлял все восстания, потому что каждое восстание ослабляло власть дворян и, следовательно, укрепляло власть короля, который мог заставить дворянство идти на уступки. Процесс имел к тому же кругообразный характер: каждая осуществленная королем мера по освобождению народа увеличивала гордыню и силу нового класса. Каждая уступка, которую делал король новому классу, влекла за собой новые восстания. Существует, значит, во всей истории Франции тесная связь между монархией и народным восстанием. Монархия и народное восстание поддерживают друг друга. И переход в руки монарха всей политической власти, которой некогда обладало дворянство, происходил в основном в результате этих восстаний, конкретных восстаний, во всех случаях поддержанных королевской властью и пользовавшихся ее покровительством.

Благодаря этому монархия присваивает себе единоличную власть. Но она может ее применять и использовать, только обращаясь за помощью к новому классу. Ему она доверит свою юстицию и администрацию, в результате он возьмет на себя все государственные функции. В итоге последним моментом процесса, конечно, может быть только последнее восстание: когда государство целиком попадает в руки этого нового класса, в руки народа, оно ускользает от королевской власти. Друг против друга остаются только король, не имеющий в действительности другой власти, кроме данной ему в результате народных восстаний, и народный класс, который держит в своих руках все инструменты государственной власти. Каков же будет последний эпизод, против кого будет направлено последнее восстание? Да, против того, кто забыл, что он был последним аристократом, еще обладающим властью: то есть против короля.

Итак, французская революция предстает в анализе Монтлозье последним эпизодом в процессе перемещения власти, начатом королевским абсолютизмом.¹⁴ Революция — это завершение конституирования монархической власти. Революция свергла короля? Вовсе нет. Революция завершила дело королей, она в буквальном смысле выразила его истину. Революция должна рассматриваться как завершение монархии; завершение, может быть, трагическое, но политически верное. 21 января 1793 г., возможно, обезглавили короля; обезглавили короля, но короновали монархию. Конвент — это голая истина монархии, а суверенитет, вырванный королем у дворянства, теперь с абсолютной неизбежностью оказывается в руках народа, который предстает, по словам Монтлозье, законным наследником королей. Монтлозье, аристократ, эмигрант, ярый противник малейшей попытки либерализации в период реставрации, может писать следующее: «Народ — суверен: пусть не порицают его со слишком большой горечью. Он только осуществил дело

суверенов, своих предшественников». Народ — наследник, и законный наследник, королей. Он исправно следовал по дороге, намеченной для него королями, парламентами, законниками и учеными. По этой причине встречаем у Монтлозье мысль, пронизывающую в некотором роде его исторический анализ, согласно которой все исходит из состояния войны и отношения господства. В политических требованиях эпохи Реставрации звучит уверенность, что дворяне должны вернуть свои права, возратить обратно национализированное имущество, восстановить господство, которое оно некогда осуществляло в отношении целого народа. Конечно, такая уверенность звучит, но содержащий ее исторический дискурс в своей основе, в своем центральном направлении ориентирован на настоящее, как на момент полноты, свершения, момент тотализации, момент, исходя из которого все исторические процессы, захватывавшие отношения между аристократией и монархией, пришли в конечном счете к высшей, последней точке, к моменту полноты, когда конституируется государственная целостность как принадлежность национального коллектива. И потому можно сказать, что этот дискурс — каковы бы не были политические темы или аналитические элементы, которые соотносятся с историей Буленвилье и дю Бюа-Нансэ или были прямо в нее вписаны, — в действительности функционирует в соответствии с другой моделью.

Теперь, чтобы закончить, я хотел бы рассмотреть другой, прямо противоположный тип интерпретации истории. Это история Огюстена Тьерри, открытого противника Монтлозье. С его точки зрения, постижение истории должно прежде всего отталкиваться от настоящего.

Очевидно, это вторая схема, в соответствии с которой нужно исходить из настоящего во всей его полноте, чтобы обнаружить элементы и процессы прошлого, она то и используется Тьерри. Соответственно государственная целостность должна быть спроецирована на прошлое; нужно осуществить генезис этой целостности. Революция для Огюстена Тьерри представляет такой «полный момент»: в определенном смысле — считает он — в ней представлен момент примирения. Он связывает это примирение, создание государственной целостности со знаменитой сценой, когда Байи, собрав представителей дворянства и духовенства в том же месте, где находились представители третьего сословия, сказал: «Семья в полном сборе.»¹⁵

Итак, надо отталкиваться от настоящего. Современный момент характеризуется национальным единством в форме государства. Но тем не менее оно могло осуществиться только посредством насильственной революции, так что примирение несет еще в себе образ войны, ее отметину. И Огюстен Тьерри говорит, что, по сути, французская революция является просто последним эпизодом борьбы, которая длилась более тринадцати веков и была войной между победителями и побежденными.¹⁶ Таким образом, для Огюстена Тьерри вся проблема исторического анализа заключается в том, чтобы показать, как пронизавшая всю историю война между победителями и побежденными могла привести к настоящему, сущностью которого не является больше война и асимметричное господство, не является новая форма господства, просто повернутого в другом направлении; показать, как эта война смогла привести к генезису универсальности, где борьба, или во всяком случае война, может только исчезнуть.

Как случилось, что из двух частей общества только одна смогла стать носителем универсальности? Такова проблема истории для Огюстена Тьерри. В таком случае анализ должен состоять в обнаружении начала процесса, который является дуальным в исходной точке, но в конце станет сразу монистическим и универсалистским. Согласно Огюстену Тьерри, суть столкновения сводится к тому, что все происходившее, конечно, имеет свое начало в таком явлении, как нашествие. Но если на протяжении всего средневековья и вплоть до настоящего момента существовали борьба и столкновения, это происходило в основном не потому, что победители и побежденные сталкивались в рамках институтов; в действительности существовали два законченных экономико-юридических типа общества, которые вступали в соперничество друг с другом в борьбе за управление и государственные функции. Существовало, даже до образования средневекового общества, сельское общество, создавшееся в результате завоевания и в соответствии с формой, которая очень скоро должна была стать формой феодализма; а затем параллельно с ним городское общество, которое строилось по римской и галльской моделям. И столкновение было, с одной стороны, результатом нашествия и завоевания, но, с другой стороны, в своем существе, в субстанциальном смысле это была борьба между двумя обществами, конфликты между которыми иногда приобретали вооруженный характер, но в основном являлись столкновениями политического и экономического порядка. Это можно назвать и войной, но она велась за права и свободы, с одной стороны, против задолженности и богатства — с другой. Столкновения между двумя типами общества за конституирование государства становятся главными двигателями истории. Вплоть до IX–X веков города терпели поражение в этих столкновениях, в борьбе за государство и за государственную универсальность. А затем, начиная с X–XI веков, напротив, происходит возрождение городов, которые строились по итальянской модели на юге и по скандинавской модели на севере. Во всяком случае, это была новая форма юридической и экономической организации. Но если городское общество в конечном счете побеждает, то не потому, что оно одержало как бы военную победу, а просто потому, что имело в своем распоряжении больше богатства, а также административную способность, новую мораль, определенный образ жизни, способ существования, волю, новаторские инстинкты, считает Огюстен Тьерри, и активность, что дает ему достаточно сил, чтобы превратить однажды свои локальные институты в институты политического и гражданского права всей страны. Итак, универсализация, но не в силу господства, которое бы целиком оказалось на стороне городского общества, а в силу того, что все основополагающие функции государства оказываются в руках его представителей, даже рождаются по их инициативе или переходят к ним в руки. И эту силу, силу государства, а не силу войны, буржуазия не станет использовать для целей войны, или она будет ее использовать как военную силу, только если в этом действительно будет необходимость. Упомяну два большие эпизода, две больших фазы в истории буржуазии и третьего сословия. Когда третье сословие почувствовало, что держит в своих руках все механизмы государства, оно прежде всего предложило нечто вроде социального пакта дворянству и духовенству. Именно таким образом создаются одновременно теория и институты трех сословий. Но это искусственное единство по-настоящему не соответствует ни действительному соотношению сил, ни стремлениям враждебной партии. По сути, третье сословие уже держит в руках все государство, а враждебная партия, то есть дворянство, не хочет за ним признать хоть какое-то право. Именно в этот момент в XVIII веке начинается новый процесс, который примет форму более резкого столкновения. Революция станет поистине последним эпизодом жестокой войны, которая, конечно, оживила старые

конфликты, но при этом была только военным инструментом столкновений и борьбы, не имевших военного характера, а относящихся, по существу, к области гражданских отношений, причем, целью и местом указанной борьбы было государство. Исчезновение системы трех сословий, резкие революционные потрясения — все это свидетельствует об одном: третье сословие, ставшее нацией, ставшее единой нацией вследствие овладения всеми государственными функциями, на деле берет на себя ответственность за нацию и государство. Конституировать самому всю нацию и взять на себя ответственность за государство на деле означает выполнение функций, универсализации, которые ведут к исчезновению и прежнего дуализма, и всех существовавших до того отношений господства. Итак, буржуазия, третье сословие, становится народом, становится государством. Она осуществляет универсализацию. Настоящий момент, то есть тот, о котором пишет Огюстен Тьерри, является именно моментом исчезновения всех форм дуализма, исчезновения наций, а также классов. «Происходят, — говорит Огюстен Тьерри, — огромные изменения, которые ведут к постепенному исчезновению почвы, на которой процветали все формы насильственного или незаконного неравенства, неравенство между господином и рабом, победителем и побежденным, сеньором и крепостным, и к появлению, наконец, на их месте единого народа, закона, равного для всех, свободной и независимой нации».17

Вы видите, что в ходе такого анализа, во-первых, устраняется или, во всяком случае, ограничивается использование войны как отправной точки трактовки историко-политических процессов. Война имеет только временное и инструментальное значение для столкновений, лишенных воинского характера. Во-вторых, существенный момент состоит в том, что теперь не господство определяет отношение одних к другим, одной нации к другой, одной группы к другой, фундаментальной основой отношений становится государство. И, наконец, можно видеть, как в рамках подобных анализов вырисовывается нечто, что, я бы сказал, может быть непосредственно ассимилировано, перенесено в философский дискурс диалектического типа. Возможность философии истории, то есть появление в начале XIX века философии, которая обретет в истории, в полноте настоящего тот момент, когда универсальное высказывается в своей истине, была, не скажу, подготовлена новым историческим дискурсом, она уже содержалась внутри него. Произошла самодиаектизация исторического дискурса, которая осуществилась независимо от всякого явного переноса или явного использования диалектической философии в историческом дискурсе. Употребление исторического дискурса буржуазией, модификация его основных элементов исторического мышления, которые она собирала с XVIII века, и составили в то же время самодиаектизацию исторического дискурса. Понятно, как исходя из этого могли завязаться отношения между историческим дискурсом и философским. По сути, в XVIII веке философия истории существовала только как спекуляция об общем законе истории. С XIX века начинается нечто новое и, я думаю, фундаментальное. История и философия поставят общий вопрос: кто в настоящем является носителем универсального? Кто в настоящем олицетворяет истину универсального? Это вопрос истории, но также и философии. Диалектика рождена.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 04:49:03

Зверобой обновил 27 января 2026 04:50:34